

Библиотека Всемирной Литературы



АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО

Рассказы



# Аркадий Тимофеевич Аверченко

## Молодняк

*Текст предоставлен правообладателем.  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=615725](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=615725)  
Аверченко А.Т. Рассказы: Эксмо; Москва; 2008  
ISBN 978-5-699-29281-3*

### **Аннотация**

«... Фундаментом нашей дружбы – Мотька, Шаша и я – послужили все три обстоятельства: мы жили на одной улице, родители наши были «знакомы домами» (или, как говорят на юге – «знакоми домамы»); и все трое вкусили горькие корни учения в начальной школе Марьи Антоновны, сидя рядом на длинной скамейке, как желуди на одной дубовой ветке. ...»

# Аркадий Аверченко

## Молодняк

Нет ничего бескорыстнее детской дружбы... Если проследить начало ее, ее истоки, то в большинстве случаев наткнешься на самую внешнюю, до смешного пустую причину ее возникновения: или родители ваши были «знакомы домами» и таскали вас, маленьких, друг к другу в гости, или нежная дружба между двумя крохотными человечками возникла просто потому, что жили они на одной улице, или учились оба в одной школе, сидели на одной скамейке – и первый же разделенный братски пополам и съеденный кусок колбасы с хлебом посеял в юных сердцах семена самой нежнейшей дружбы.

Фундаментом нашей дружбы – Мотыка, Шаша и я – послужили все три обстоятельства: мы жили на одной улице, родители наши были «знакомы домами» (или, как говорят на юге – «знакомы домамы»); и все трое вкусили горькие корни учения в начальной школе Марьи Антоновны, сидя рядом на длинной скамейке, как желуди на одной дубовой ветке.

У философов и у детей есть одна благородная черта – они не придают значения никаким различиям между людьми – ни социальным, ни умственным, ни внешним. У моего отца была галантерейная лавка (аристократия), Шашин отец ра-

ботал в порту (плебс, разночинство), а Мотькина мать просто существовала на проценты с грошового капитала (рантье, буржуазия), умственно Шаша стоял гораздо выше нас с Мотькой, а физически Мотька почитался среди нас – веснушчатых и худосочных – красавцем.

Ничему этому мы не придавали значения... Братски воровали незрелые арбузы на баштанах, братски их пожирали и братски же катались потом по земле от нестерпимой желудочной боли. Купались втроем, избивали мальчишек с соседней улицы втроем, и нас били тоже всех трех – единодушно и нераздельно.

Если в одном из трех наших семейств пеклись пироги – ели все трое, потому что каждый из нас почитал святой обязанностью с опасностью для фасада и тыла воровать горячие пироги для всей компании.

У Шашиного отца – рыжебородого пьяницы – была прекверная манера лупить своего отпрыска, где бы он его ни достигал, а так как около него всегда маячили и мы, то этот прямолинейный демократ бил и нас, на совершенно равных основаниях.

Нам и в голову не приходило роптать на это, и отводили мы душу только тогда, когда Шашин отец брел обедать, проходя под железнодорожным мостом, а мы трое стояли на мосту и, свесив головы вниз, заунывно тянули:

Рыжий, красный,

Человек опасный...  
Я на солнышке лежал.  
Кверху бороду держал...

– Сволочи! – грозил снизу кулаком Шашин отец.

– А ну иди сюда, иди, – грозно говорил Мотьяка. – Сколько вас нужно на одну руку?

И если рыжий гигант взбирался по левой стороне насыпи, мы, как воробьи, вспархивали и мчались на правую сторону – и наоборот. Чего там говорить – дело было беспроегрышное.

Так счастливо и безмятежно жили мы, росли и развивались до шестнадцати лет.

А в шестнадцать лет дружно, взявшись за руки, подошли мы к краю воронки, называемой жизнью, как щепки попали в водоворот, и водоворот закружил нас.

Шаша поступил в наборщики в типографию «Электрическое усердие». Мотю мать отправила в Харьков в какую-то хлебную контору, а я остался непристроенным, хотя отец и мечтал «определить меня на умственные занятия» – что это за штука, я и до сих пор не знаю. Признаться, от этого сильно пахло писцом в мещанской управе, но, к моему счастью, не оказалось вакансий в означенном мрачном и скучном учреждении...

С Шашей мы встречались ежедневно, а где был Мотьяка и что с ним – об этом ходили только туманные слухи, сущность

которых сводилась к тому, что он удачно «определился на занятия» и что сделался он таким франтом, что не подступись.

Мотька постепенно сделался объектом нашей товарищеской гордости и лишенных зависти мечтаний возвыситься со временем до него, Мотьки.

И вдруг получилось сведение, что Мотька должен прибыть в начале апреля из Харькова «в отпуск с сохранением содержания». На последнее усиленно напирала Мотькина мать, и в этом «сохранении содержания» видела бедная женщина последний лавр в победном венке завоевателя мира Мотьки.

\* \* \*

В этот день не успели закрыть «Электрическое усердие», как ко мне ворвался Шаша и, сверкая глазами, светясь от восторга, как свечка, сообщил, что уже видели Мотьку едущим с вокзала и что на голове у него настоящий цилиндр!..

– Такой, говорят, франт, – горделиво закончил Шаша, – такой франт, что пусти – вырвусь.

Эта неопределенная характеристика франтовства разожгла меня так, что я бросил лавку на приказчика, схватил фуражку – и мы помчались к дому блестящего друга нашего.

Мать его встретила нас несколько важно, даже с примесью надменности, но мы впопыхах не заметили этого и, тяжело

дыша, первым делом потребовали Мотю.

Ответ был самый аристократический:

– Мотя не принимает.

– Как не принимает? – удивились мы. – Чего не принимает?

– Вас принять не может. Он сейчас очень устал. Он сообщит вам, когда сможет принять.

Всякой шикарности, всякой респектабельности должны быть границы. Это уже переходило даже те широчайшие границы, которые мы себе начертили.

– Может быть, он нездоров?.. – попытался смягчить удар деликатный Шаша.

– Здоров-то он здоров... Только у него, он говорит, нервы не в порядке... У них в конторе перед праздниками было много работы... Ведь он теперь уже помощник старшего конторщика. Очень на хорошей ноге...

Нога, может быть, была и подлинно хороша, но нас она, признаться, совсем придавила: «Нервы, не принимает»...

Возвращались мы, конечно, молча. О шикарном друге впредь до выяснения не хотелось говорить. И чувствовали мы себя такими забитыми, так униженно жалкими, провинциальными, что хотелось и расплакаться и умереть или, в крайнем случае, найти на улице сто тысяч, которые дали бы и нам шикарную возможность носить цилиндр и «не принимать» – совсем как в романах.

– Ты куда? – спросил Шаша.

– В лавку. Скоро записать надо. (Боже, какая проза!) А ты?

– А я домой... Выпью чаю, поиграю на мандолине и завалюсь спать.

Проза не меньшая! Хе-хе.

\* \* \*

На другое утро – было солнечное воскресенье – Мотькина мать занесла мне записку: «Будьте с Шашей в городском саду к 12 часам. Нам надо немного объясниться и пересмотреть наши отношения. Уважаемый вами Матвей Смелков».

Я надел новый пиджак, вышитую крестиками белую рубашку, зашел за Шашей – и побрели мы со стесненными сердцами на это дружеское свидание, которого мы так жаждали и которого так инстинктивно, панически боялись.

Пришли, конечно, первыми. Долго сидели с опущенными головами, руки в карманах. Даже в голову не пришло обидеться, что великолепный друг наш заставляет ждать так долго.

Ах! Он был действительно великолепен... На нас надвигалось что-то сверкающее, пестрое, до крика элегантно, бряцающее многочисленными брелоками и скрипящее лаком желтых ботинок с перламутровыми пуговицами.

Пришелец из неведомого мира графов, золотой молодежи, карет и дворцов, он был одет в коричневый жакет, белый



жилет, какие-то сиреневые брючки, а голова увенчивалась сверкающим на солнце цилиндром, который если и был мал, то размеры его уравнивались огромным галстуком с таким же огромным бриллиантом. Палка с лошадиной головой обременяла правую аристократическую руку. Левая рука была обтянута перчаткой цвета освежеванного быка. Другая перчатка высывалась из внешнего кармана жакета так, будто грозила нам своим вялым указательным пальцем: «Вот я вас!.. Отнеситесь только без должного уважения к моему носителю».

Когда Мотя приблизился к нам развинченной походкой пресыщенного денди, добродушный Шаша вскочил и, не могши сдержать порыва, простер руки сиятельному другу:

– Мотья! Вот, брат, здорово!..

– Здравствуйте, здравствуйте, господа, – солидно кивнул головой Мотья и, пожав наши руки, опустился на скамейку...

Мы оба стояли.

– Очень рад видеть вас... Родители здоровы? Ну, слава Богу, приятно, я очень рад.

– Послушай, Мотья... – начал я с робким восторгом в глазах.

– Прежде всего, дорогие друзья, – внушительно и веско сказал Мотья. – Мы уже взрослые, и поэтому «Мотьяку» я считаю определенным «кельвыражансом»... хе-хе... Не правда ли? Я уже теперь Матвей Семеныч – так меня и на

службе зовут, а сам бухгалтер за ручку здороваются.оборот предприятия два миллиона. Вообще, мне бы хотелось пересмотреть в корне наши отношения.

– Пожалуйста, пожалуйста, – пробормотал Шаша. Стоял он согнувшись, будто свалившимся невидимым бревном ему переломило спину.

Перед тем как положить голову на плаху, я малодушно попытался отодвинуть этот момент.

– Теперь опять стали носить цилиндры? – спросил я с видом человека, которого научные занятия изредка отвлекают от капризов изменчивой моды.

– Да, носят, – снисходительно ответил Матвей Семеныч. – Двенадцать рублей.

– Славные брелочки. Подарки?

– Это еще не все. Часть дома. Все на кольце не помещаются. Часы на камнях, анкер, завод без ключа. Вообще, в большом городе жизнь – хлопотливая вещь. Воротнички «Монополь» только на три дня хватают, маникюр, пикники разные.

Я чувствовал, что Матвей Семенович тоже тянет, что ему тоже не по себе... Но, наконец, он решил. Тряхнул головой так, что цилиндр вспрыгнул на макушку, – и начал:

– Вот что, господа... Мы с вами уже не маленькие и вообще... детство это одно, а когда молодые люди, так совсем другое. Другой, например, добился до какого-нибудь там лучшего общества, до интеллигенции, а другие есть из низших классов, и если бы вы, скажем, увидели в одной ка-

рете графа Кочубей рядом с нашей Миронихой, которая, помните, на углу маковники продавала, так вы бы первые смеялись до безумия. Я, конечно, не Кочубей, но у меня есть известное положение, ну, конечно, и у вас есть известное положение, но не такое, а что мы были маленькими вместе, так это мало ли что... Вы сами понимаете, что мы уже друг другу не пара... и... тут, конечно, обижаться нечего – один достиг, другой не достиг, но, впрочем, если хотите, мы будем изредка встречаться около железнодорожной будки, когда я буду делать прогулку, – все равно там публики нет, и мы будем как свои. Но, конечно, без особой фамильярности – я этого не люблю. Я, конечно, вхожу в ваше положение – вы меня любите, вам даже, может быть, обидно, и поверьте... я со своей стороны... если могу быть чем-нибудь полезен...

В этом месте Матвей Семенович взглянул на свои часы нового золота и заторопился:

– О-ля-ля! Как я заболтался... Семья помещика Гузикова ждет меня на пикник, и если я запоздаю, это будет нонсенс. Желаю здравствовать! Желаю здравствовать! Привет родителям!..

И он ушел, сверкающий и даже немного гнущийся под бременем респектабельности, усталый от повседневного вихря светской жизни.



В этот день мы с Шашей, заброшенные, будничные, лежа на молодой травке железнодорожной насыпи, в первый раз пили водку и в последний раз плакали.

Водку мы пьем и теперь, но уже больше не плачем.

Это были последние слезы детства. Теперь – засуха.

И чего мы плакали? Что хоронили? Мотька был напыщенный дурак, жалкий третьестепенный писец в конторе, одетый, как попугай, в жакет с чужого плеча; в крохотном цилиндре на макушке, в сиреневых брюках, обвешанный медными брелоками, – он теперь кажется мне смехотворным и ничтожным, как червяк без сердца и мозга, – почему же мы так убивались, потеряв Мотьку?..

А ведь – вспомнишь – как мы были одинаковы, как три желудя на дубовой ветке, когда сидели на одной скамейке у Марьи Антоновны.

Увы! Желуди одинаковые, но когда вырастут из них молодые дубки – из одного дубка сделают кафедру для ученого, другой идет на рамку для портрета любимой девушки, а из третьего дубка смастерят такую виселицу, что любо-дорого...